Цветаева Марина

21.11.92

День — 1992 — 15-21 ноября — с.8

Станислав ГРИБАНОВ

«НЕ ЧЕРНОСОТЕНЕЦ — ГОРНОСТАЙ...»

В конце 80-х годов на книжном рынке появилось достаточно много и «Сочинений», и «Избранных» Марины Цветаевой. Но вот деталь: упорно не замечают почему-то ее «Вольный проезд». Очерк этот был опубликован еще в 1924 году в Париже и с тех пор нигде не появлялся. У нас, правда, проскочил однажды в журнале «Простор»: это казахи сделали попытку вернуть России наследие поэта. Но подрезали тот очерк, пригладили, причесали тоже, видно, профессиональные мастера.

Полностью, без купюр, «Вольный проезд» Марины Цветаевой удался в канун ее 100-летия да и то лишь в учебном пособии для студентов-словесников.

Что же до сих пор смущает и так настораживает издателей и составителей цветаевских сборников? Что за «проезд» такой тревожный, в чем его «вольности»?

Как-то с пропуском отдела изобразительных искусств Марина Ивановна отправилась в Тамбовскую губернию «для изучения кустарных вышивок» — за пшеном. По дороге ее чуть не выбросили красноармейцы, потом выяснилось, что она попала в реквизиционный отряд, и вот... Привожу несколько строк из горестных зарисовок осени 1918-го.

***

«Станция Усмань. 12-й час ночи.

Приезд. Чайная. Ломящиеся столы. Наганы, пулеметные ленты, сплошная кожаная упряжь. Веселы, угощают. Мы, чествуемые, все без сапог, — идя со станции, чуть не потонули...

***

Опричники: еврей со слитком золота на шее, еврей-семьянин («если есть Бог, он мне не мешает, если нет—тоже не мешает»), «грузин» с Триумфальной площади, в красной черкеске, за гривенник зарежет мать.

***

Хозяйка (жена того опричника со слитком) — маленькая (мизгирь!) наичернющая евреечка, «обожающая» золотые вещи и шелковые материи.

— Это у вас платиновые кольца?

— Нет, серебряные.

— Так зачем же вы носите?

— Люблю.

— А золотых у вас нет?

— Нет, есть, но я вообще не люблю золота: грубо, явно...

— Ах, что вы говорите! Золото — это ведь самый благородный металл. Всякая война, мне Иося говорил, ведется из-за золота.

(Я мысленно: «Как и всякая революция!»)

Марина Ивановна вспоминает, как за тридцать верст по стриженому полю ходила в деревню ситец на крупу менять, как у «хозяйки» — жены Иоси Каплана, руководившего реквизиционным отрядом, посуду и полы в избе мыла; как однажды «хозяйка» наклонилась над чем-то, и из-за пазухи у нее выпала стопка золота, со звоном раскатившись по комнате...

С реквизиции и лжи, как Цветаева пишет — с разбоя «опричники» приходят усталые, потные, злые. «Мы с хозяйкой мигом бросаемся накрывать. Суп с петухом, каша, блины, яичница. Едят сначала молча. Под лаской сала и масла лбы разглаживаются, глаза увлажняются. После грабежа — дележ: впечатлениями (вещественный дележ на месте)».

Однажды в разговор вмешали Бога. «Кто начал — не помню,— пишет Марина Ивановна.— Помню только свой голос: «Господа, если его нет — за что же вы его так ненавидите?..»

И вот как повернулся для Цветаевой тот разговор.

«Левит. Это пережитки буржуазного строя. Ваши колокола мы перельем на памятники.

Я. Марксу.

Острый взгляд. Вот именно.

Я. И убиенному Урицкому. Я, кстати, знала его убийцу. **(Подскок. Выдерживаю паузу.)** Как же — вместе в песок играли: Каннегиссер Леонид.

Левит. Поздравляю вас, товарищ, с такими играми!

Я (досказывая). Еврей.

Левит (вскипая). Ну, это к делу не относится!

Теща (не поняв). Кого жиды убили?

Я. Урицкого, начальника Петербургской Чрезвычайки.

Теща. И-ишь. А что — он тоже из жидов был?

Я. Еврей. Из хорошей семьи.

Теща. Ну, значит, свои повздорили. Впрочем, это между жидами редкость, у них это, наоборот, один другого покрывает, кум обжегся — сват дует, ей-Богу!

Левит (ко мне). Ну и что же, товарищ, дальше?

Я. А дальше покушение на Ленина. Тоже еврейка **(обращаясь к хозяину, любезно).** Ваша однофамилица — Каплан.

Левит (перехватывает ответ Каплана). И что же вы этим хотите доказать?

Я. Что евреи, как русские, разные бывают.

Левит (вскакивая). Я, товарищ, не понимаю: или я не своими ушами слышу, или ваш язык не то произносит. Вы сейчас находитесь на реквизиционном пункте, станция Усмань, у действительного члена РКП товарища Каплана.

Я. Под портретом Маркса...

Левит. И тем не менее вы...

Я. И тем не менее я. Отчего же не обменяться мнениями?

Кто-то из солдат. А это правильно товарищ говорит. Какая ж свобода слова, если ты и икнуть по-своему не смеешь! И ничего товарищ особенного не заявляли: только что жид жида уложил, это мы и без того знаем.

Левит. Товарищ Кузнецов, прошу вас взять свое оскорбление обратно!

Кузнецов. Какое такое оскорбление?

Левит. Вы изволили выразиться про идейную жертву — жид?!

Кузнецов. Да вы, товарищ, потише, я сам член Коммунистической партии, а что я «жид» сказал — у меня привычка такая!

Теща (Левиту). Да что ж это вы, голубчик, всхорохорились? Подумаешь — «жид». Да у нас вся Москва жидом выражается — и никакие ваши декреты запретные не помогут! Потому и жид, что Христа распял!

Левит. Хрисс-та-а?!! — Как хлыст полоснул. Как хлыстом полоснул. Как хлыстом полоснули. Вскакивает. Ноздри горбатого носа пляшут. — Так вы вот каких убеждений, мадам? Так вы вот за какими продуктами по губерниям ездите! **(К свахе).** Это и к вам, товарищ, относится! **(Опять мне).** Пропаганду вести? Погромы подстраивать? Советскую власть раскачивать! Да я вас!.. Да я вас в одну сотую долю секунды...

Сваха. И не испугалась! А сын-то у меня на что же? Самый что ни на есть большевик, почище вас будет! Ишь — расходился! Вот только Кольки моего нет, а то показала бы вам, как на почтенную вдову змеем шипеть! Пятьдесят лет живу — такого страма...

Хозяйка. Мадам! Мадам! Успокойтесь! Товарищ Левит пошутил, товарищ всегда так шутит! Да вы сами посудите...

Сваха (отмахиваясь). И судить не хочу, и шутить не хочу. Надоела мне ваша новая жизнь! Был Николашка — были у нас хлеб да каша[1], а теперь за кашей за этой — прости Господи! — как пес, язык высуня, 30 верст по грязи отмахиваем...»

В тот вечер Марина Цветаева познакомится с «живым Стенькой Разиным». Солдат, спасший знамя, с двумя царскими Георгиями на груди, тоже вот оказался в стряде реквизиторов Каплана. «После тещ, свах, пшен, помойных ведер, наганов. Марксов — этот луч (голос), ударяющий в эту синь (глаза!)», — напишет потом Цветаева, а утром ей придется спешно оставить и Разина, и отряд, и станцию Усмань...

«М. И., сматывайтесь — и айда! Что вы здесь с тещей наговорили? Этот, в красной черкеске, в бешенстве! Полночи его работал. Наврал, что вы и с Лениным, и с Троцким, что вы им всем очки втирали, что вы тайно командированы, черт знает чего наплел! Да иначе и не вывез бы! Контрреволюция, орет, юдофобство...»

Уже на девятом месяце Великого Октября вожди его родили декрет о борьбе с антисемитизмом. «Совет Народных Комиссаров объявляет антисемитское движение гибелью для дела рабочей и крестьянской революции», — настораживал документ. Вот Марине Ивановне Цветаевой и пришлось так срочно ретироваться после «обмена мнениями» с реквизитором Иосей Капланом. Далеко не всем тогда это удавалось...

Но минуло более семи десятков лет с той горячечной поры. В августе 1992-го решено было одним махом отказаться от бредовых идей на тему мировой революции — царства с молочными реками да кисельными берегами.

И что же?

А ничего. Дух Иоси Каплана жив и по-прежнему витает над равниной Русской. Пресса в тревоге: «Молчал Горбачев, молчит Ельцин, молчит парламент. А будет дана политическая оценка, тогда... быстренько появятся и соответствующие новые статьи в Уголовном кодексе, заработают правоохранительные и прочие органы... Сколько же ждать этого?»

В самом деле объявить бы, как в том декрете, антисемитское движение гибелью для завоеваний демократических реформ — и нет проблем. «Вы изволили выразиться про идейную жертву — жид?!» — статья номер такая-то.

***

«Дом у Старого Пимена»... Очерк этот почти во всех советских изданиях выходил также общипанным, повырезанным. И почему-то особенно не везло дедушке Иловайскому. Скажем, такие вот купюры.

«Но была в нем одна область не олимпийская, не аидова, где ни лавров, ни гранатов, ничего, кроме золы и шлака. Это была область его ненависти: юдоненависти. Я еще нигде не сказала о ветхозаветном, изуверском, иудейском сердце Иловайского. Ибо что же его ненависть к евреям, как не библейская, Саваофом повеленная и Моисеем законоположенная ненависть правоверных к инсверцам, и, ее пережиток, иудейская — к христианам?..»

Дальше. «1918 год. Весна. Стук в дверь. Редкий гость. Брат Андрей, о котором никогда ничего не знаю, ни жизни, ни окружения, ни горестей, ни радостей, ни даже адреса, ничего, кроме того, что он нас, полуродных сестер, любит несравненно больше, чем родную, и если кого-нибудь на свете любит — то нас.

— Марина! У тебя еще живет этот жилец — как его? Икс?

— Живет.

— Так ты уж, пожалуйста, устрой, чтобы выпустили деда.

— Как — выпустили?

— Ну, да, сидит в Чека уже неделю.

— За что?

— За убеждения. Пришли и арестовали. Совершенно неприлично.

— А сколько ему сейчас лет?

— А Бог его... Около ста должно быть.

— Ну-у?

— Во всяком случае девяносто.

— Хорошо, я попытаюсь.

Поздно вечером сторожу у тогда еще звонившего телефона своего квартиранта Икса. Топ-топ-топ-топ — по лестнице. Открываю.

— Генрих Бернардович!

— Да?

— Нечего сказать, хороши ваши большевики — столетних стариков арестовывают!

— Каких еще стариков?

— Моего деда Иловайского.

— Иловайский — ваш дед??

— Да.

— Историк?

— Ну да, конечно.

— Но я думал, что он давно умер.

— Совершенно нет.

— Но сколько же ему лет?

— Сто.

— Что?

Я, сбавляя:

— Девяносто восемь, честное слово, он еще помнит Пушкина.

— Помнит Пуш-кина?! — И вдруг, заливаясь судорожным истерическим смехом: — Но этто же анекдот... Чтобы я... я... историка Иловайского!! Ведь я же по его учебникам учился, единицы получал...

Неделю мой скромный Икс гонял по иловайскому делу, он — олицетворенные две ноги — на автомобиле! Неделю я ничего не спрашивала, ибо больше, чем верила — знала. И на седьмой день в тот же ночной час — топ-топ-топ (ровно в четыре скачка брал лестницу) — стук-стук-стук.

— Марина Ивановна?

— Да.

— Могу вас поздравить! Выпустили вашего дедушку! — Сияет, но лицо злое, то же сияние и злоба в голосе.— Но ззznaete — нелегко далось!

Я робко:

— Спасибо, я не нахожу слов, чтобы...

— Совсем не надо, я с удовольствием, собственно без всякого удовольствия, я бы вообще, но... Ему правда девяносто лет?

Я, чтобы хоть чем-нибудь отблагодарить:

— Девяносто восемь.

— А выглядит — шестьдесят. И голос бодрый. Да. Вы говорите — Наполеона помнит?

— Все, что угодно! А главное — Пушкина.

Икс, на секунду полузакрыв глаза:

— Замечательно!

Я, пользуясь секундой:

— А за что его арестовали?

Икс, открывая настежь:

— За германскую ориентацию.

Я в полном чистосердечии изумления:

— Но он же казак, даже станица есть — Иловайская.

— Я не говорю за германское происхождение — для нас происхождение не играет роли, мы же (точно кладя мне в рот, один за другим, шесть кусков сахара) Интер-на-ци-о-нал, я говорю: «ориентацию».

Я многозначительно:

— А-а-а...

...На следующее утро — явление Андрея.

— Ну, Марина, молодец твой Икс! Выпустил деда.

— Знаю.

— Три недели просидел. Ругается!

— А ты сказал — через кого?

— Да что ты!

— Напрасно, непременно передай, что освободил его из плена еврей Икс.

— Да что ты, матушка, он, если узнает, — обратно запросится!..»

Тщательно вычерчивался из цветаевских сочинений и абзац о сыне Дмитрия Ивановича Иловайского — Сергее.

«Тихоня, херувимчик, маменькин сынок, старушкин угодник, белоподкладочник, черносотенец? — словно к нам, грядущим, обращается в своей исповедальной прозе Марина Ивановна и тут же с цветаевской категоричностью отвечает: — Не тихоня, а тишайший, не херувимчик, а Cherub, не маменькин сынок, а сын матери, не стародамский угодник, а ревнитель древнейшей заповеди, не белоподкладочник — сама белизна, не черносотенец — горностай».

***

Вот тут-то — на горностаях — «Дом у Старого Пимена», похоже, и погорел.

В Ste-Geneviève-des Bois, в Русском доме была польская женская родня Марины: три старушки — две двоюродные сестры ее матери (60 лет) и их мать (83 лет). Марина узнала об отце прадеда: Александр Бернацкий жил 118 лет. Прадед — Лука Бернацкий — жил 94 года.

«Зато все женщины (все Марии, я — первая Марина) умирали молодые: прабабка (графиня) Ледуховская (я — ее двойник), породив семерых детей, умерла до 30 лет, моя бабушка, Мария Лукинична Бернацкая, — 22 лет, моя мать, Мария Александровна Цветаева, — 34 лет. Многое и другое узнала, например, что брат моей прабабки был кардиналом и даже один из двух кандидатов в папы. В Риме его гробница, та старушка (мне рассказывающая) видела.

А про деда Мейна узнала, что он не только не был еврей (как сейчас, желая меня «дискредитировать», пустили слух в эмиграции), а самый настоящий русский немец, к тому же редактор московской газеты — кажется, «Голос».

...Узнала, что семья (с самого того 118-летнего Александра) была страшно бедная, что «паныч» (прадед Лука), идя учиться в соседнее село к дьячку, снимал сапоги и надевал их только у входа в деревню, а умер «при всех орденах» и с пенсией, «по орденам», в 6000 руб.

...Все они моим приездом были счастливы, очевидно, почуяв во мне свою, бернацкую, а не мейневскую («немцеву») кровь.

Кстати, в полной невинности, говорят — «жиды», а когда я мягко сказала, что в моем муже есть еврейская кровь, — та старая бабушка: «А жиды разные бывают». Тут и я не стала спорить».

«Как случилось, что он (С. Эфрон. — С. Г.) оказался сотрудником ЧК, для меня — загадка», — с невинностью гимназистки спрашивает и отвечает себе В. Швейцер в биографическом очерке о Марине Цветаевой. Да полно, товарищ Швейцер. Прекрасно ведь знаете, что Сережа Эфрон вырос в семье революционеров-народовольцев. Мать его, Елизавета Петровна Дурново, и отец, Яков Константинович Эфрон, были сторонниками террора. Племянница московского генерал-губернатора П. Н. Дурново — Елизавета Дурново рассказывала друзьям, как ее семилетний сынишка Сережа «прятал бомбу в штанах». Но, наполовину еврей, почему же он должен был изменить идеалам отца?..

Лев Дейч, автор книги «Роль евреев в русском революционном движении», пишет: «Эфрона я впервые встретил в Минске, где он был проездом за границу. Он тогда рассчитывал скоро вернуться обратно и обещал нам золотые горы в смысле денег. Но он там застрял, и я уже потом встретил его в Женеве».

Сын Якова Эфрона золотых гор революционному движению России не обещал, но кое-что во имя той, так называемой русской революции сделал. Ариадна Сергеевна рассказывала мне, как команда во главе с ее отцом надула сына Троцкого — за несколько минут уволокли архив Льва Давидовича. Потом было дело с похищением руководителя эмигрантского Российского общевоинского союза генерала Кутепова — не Миллера. Миллер был схвачен и вывезен в Брест — это само собой. А заодно ребята из НКВД, с которыми был С. Эфрон, пустили в расход своего товарища по оружию Рейса. Товарищ Рейс оскорбился по поводу пролетарской революции. «Я больше не могу. Я возвращаю себе свободу. Назад к Ленину, его учению и делу!» — заявил он.

Ну и... возвратили. Что тут неясного?

---

[1] «Пришли большевики — не стало ни хлеба, ни муки» — московская поговорка 1918 года.